

Грустный танец Фрейлакс

Автор:

Ян Валетов

Грустный танец Фрейлакс

Ян Валетов

Осень 1941 года...

Тысячи евреев и цыган расстреляны пособниками новой власти в Приазовье. Тысячи – это всего лишь цифра. Каждый из убитых – целая Вселенная со своей судьбой.

Их не воскресить. Но надо помнить...

Ян Валетов

Грустный танец Фрейлакс

* * *

Как танцевал фрейлакс долговязый Янкель Кац!

Как он танцевал!

Отклоняя то назад, то вперед корпус, выделявая ногами замысловатые коленца, кружился, забавно отставляя локти, и шел по кругу – вышагивал в такт ритмичной музыке, артистично склонив голову на тонкой, все еще детской шее.

И пели скрипки, звенели гитарные струны (на всех празднествах подыгрывал на гитаре пейсатым скрипачам пожилой ром Михаил) и взлетала легкими рыжеватыми облачками дворовая пыль, поднятая стоптанными каблуками танцующих.

И сейчас под ногами вилась пыль.

Колонна медленно тянулась на север, окутанная ржавым порохом пересохшей степной земли, оставив сзади городские окраины и пахнущее водорослями, остывающее море. Триста тридцать шесть человек, включая стариков, женщин и детей, согласно утвержденному в городской управе списку на переселение. Новая власть была аккуратна и включила в списки всех, кто не успел эвакуироваться или уйти вместе с Красной армией, откатившейся от города в конце сентября фактически без боев. В колонне было триста два лица еврейской национальности и тридцать четыре лица из числа оседлых цыган, проживающих в городской черте.

Впереди, треща двигателем, катился мотоцикл с коляской – вонючая немецкая машинка, выкрашенная в «хаки», на котором ехали мордатый сержант и двое солдат. Рядом поскрипывала убогая телега, влекомая флегматичной пегой лошадью преклонных лет. В повозке, лежа на пыльном сене, тряслись шестеро румынских солдат, кговору которых внимательно прислушивались оказавшиеся неподалеку цыгане, и возница – основательный и неторопливый, как его лошадка дед Николай. Сопровождая медленно бредущих людей, словно овчарки охраняющие стадо, по обочинам шли получившие новенькую форму полицаи из местных – с немецкими карабинами и белыми повязками на рукавах.

Замыкал колонну тупорылый грузовик с брезентовым верхом, постоянно стреляющий испорченным глушителем. От этого грохота в толпе начинали испуганно плакать дети, и даже взрослые втягивали головы в плечи. В кузове кто-то ехал, но пятнистый, как кожа древнего старика, полог был задернут, и кто именно сидит внутри было не рассмотреть.

Рэб Давид, сухой и маленький старик лет семидесяти, с длинным носом и печальными, глубоко посаженными глазами, удивительно молодыми для этого морщинистого лица, возглавлял печальное шествие, и знал, кто едет в грузовике. И от этого знания, а вовсе не из-за боли в распухших от подагры ногах, ему становилось тяжелее с каждым шагом.

Это знание подарил ему бывший сосед, с которым когда-то было выпито немало абрикосовой водки, а нынче старший полицай Тимофей Копейко, которого весь поселок Шанхай знал под кличкой Грошик.

Утром, когда всех сгоняли на площадь перед бывшим горкомом партии, а ныне Комендатурой, для построения, Грошик, ловко перекатываясь на коротких кривых ногах, как бы совершенно случайно очутился рядом с рэбом Мейерсоном, и, прикуривая немецкую, пахнущую «не по-нашему» сигаретку, сказал в полголоса, опасливо стреляя глазами из-под спадающей на лоб, редкой, как старый гребень, челки:

– Слушай, дядя Давид, тут такое дело...

Рэб Давид молчал, глядя перед собой.

Человек, конечно, слаб, и Господу это известно. Вот только почему одни предают, а другие, все-таки, нет?

Копейко пыхнул несколько раз густым дымом, сделал вид, что передыхает от непосильного труда, и продолжил:

– Там приехали какие-то, все в черном. Герр комендант говорит, что следить за переселением. Одеты совсем не так, как наши немцы. С автоматами.

Рэб Мейерсон знал Грошика всю его жизнь – старшему полицаяу было хорошо за сорок. Знал его родителей. Его сестру. Его жену Зинаиду – справную, статную бабу с визгливым, как пилорама, голосом. Его младшего брата – Сергея, запойного, но беззлобного, как щенок дворняжки, парня. Дом семьи Копейко стоял неподалеку от синагоги, совсем рядом с домом Мейерсонов и дети Давида, а было их пятеро, бегали к морю купаться вместе с детьми Саши Копейко: Тимофеем, Любашей и младшим – Лешкой.

Грошик никогда героем не был. И подойти так близко к толпе изгоев с тем, чтобы предупредить их об опасности, было для него практически подвигом.

За службу новым хозяевам давали форму. Давали власть и оружие. Давали возможность есть лучше, чем другие. Давали право на жизнь. А за несколько

фраз, брошенных украдкой знакомому жиду или цыгану, здесь, на площади, вполне могли лишить всего даренного, да еще и отобрать то, что было до того.

Как ни крути, для человека с белой повязкой на рукаве это был поступок.

Рэб Давид едва заметно кивнул, на миг прикрыл глаза морщинистыми коричневыми веками столетней черепахи, и едва слышно произнес:

– Спасибо.

Он пришел на площадь первым. Бессонная ночь пролетела, как и не было ее – за краткое мгновение от первой до последней звезды. Осень всегда накрывала Горохов зыбкими туманами. Густые серые языки висели над чуть примороженной землей. Опавшая листва садов пласталась по земле, шурша под ногами. Парило дымком, похожим на папиросный, стылое море.

Давид аккуратно закрыл ставни, отвязал безымянную дворнягу несколько лет сторожившую двор, вынес и положил в ее миску всю оставшуюся в доме еду. Открыл сарай с птицей – куры завохтали, зашевелились на насестах побеспокоенные ранним вторжением хозяина и затихли. Потом Мейерсон зачем-то, сам не понимая зачем, медленно обошел сад.

Несмотря на холостое житье и почтенный возраст хозяина, сад был ухожен. Павший на землю лист аккуратно собран в яму для перегноя, виноградная лоза, из сиреневых плодов которой Анна когда-то делала восхитительную, сладкую наливку, прикрыта землей от зимних холодов. На облетевшей калине, стоящей одиноко у самого забора, висели гроздья ягод уже начавших краснеть и морщиться от первых заморозков.

Давид аккуратно, стараясь не потревожить гроздь, сорвал одну ягодку – ветка качнулась, словно от ветра, и ощутил на языке знакомую горечь недозревшего плода. Разжеванная ягода упала на землю кровавым плевком, и Мейерсон торопливо, сам удивляясь своему внезапному испугу, растер ее ногой.

Он вернулся в дом. Печь начала остывать, но еще наполняла комнаты обманчивым теплом перегоревших в золу углей. На стене, над безупречно застеленной кроватью, висели семейные фотографии в самодельных, старательно вскрытых коричневой морилкой, рамках. Несколько дагерротипов, и

фото: частью – совсем старые, еще дореволюционные, пожелтевшие от солнечного света и времени, и несколько новых, привезенных детьми.

Стараясь не глядеть на лица, навеки застывшие под коркой помутневших стекол, старик снял увесистые рамки со стены – на местах, где они висели, остались прямоугольные следы, словно заколоченные окошки в прошедшие годы – и сложив фотографии в старый сундук, стоящий в их с Анной спальне, запер его массивным ключом.

Сама мысль о том, что чужие руки будут касаться фотографий, мебели, постельного белья, книг, а в том, что это вскоре случится, Мейерсон не сомневался ни на йоту, вызывала у него острое, как сердечная боль, чувство бессильного гнева. Это не имело ничего общего со старческой слабостью. Чувство было молодым, сильным и ярким, может быть потому, что ничего подобного он в своей долгой жизни не испытывал. А вот смирения в душе не было, сколько рэб Давид его не искал.

Входную дверь он запер, но повесил ключ на гвоздь вбитый в косяк. Счастливая дворняга чавкала и повизгивала над миской. Пахло паленой листвой и куриным пометом. Громко прокричал петух, возвещая рассвет, и по Шанхаю прокатилось торжествующее кукареканье – благая весть о том, что новый день, несмотря ни на что, наступил, передавалась от дома к дому.

Старик вышел за ворота, тяжело ступая на правую, опухшую ногу. Калитку он не закрыл. С каждым шагом, отдаляющим его от дома, он двигался все уверенней. В конце улочки он остановился и, постояв неподвижно несколько секунд, все-таки оглянулся.

Дома и нависающие над заборами деревья казались тенями в дымке, карандашным наброском на серой бумаге. Только приоткрытая калитка виднелась темным пятном. Словно раззявленный в предсмертном крике рот.

На самом исходе теплых осенних дней, в начале октября, немцы вошли в город без единого выстрела.

Их не встречали цветами, как было на западе, но во взглядах не было ненависти или особого страха. Нельзя бояться того, чего не знаешь. Все происходило так

буднично, что возникало сомнение в реальности происходящего.

Вообще, все с самого начала было буднично.

В спешке грузили демонтированное оборудование в вагоны на Сталелитейном, взрывники под бдительным оком бойцов НКВД минировали домны и огромные коробки цехов. Закладывали заряды и под махины портовых кранов. Из контор вывозили кипы документов, заполняя бумагами телеги и кузова немногочисленных грузовиков. На улицах зазвучали слова – эвакуация, броня, Урал. Потом стало известно, что специалистов со Сталелитейного – инженеров, литейщиков, механиков и их семьи вывозят в Нижний Тагил. Громкоговорители вещали о временных поражениях, о героизме защитников Родины. И в этих сводках была правда. Был героизм, были временные поражения. Был перечень городов, которые советские войска оставили «после продолжительных тяжелых боев». Слушая тяжелый, бронзовый голос диктора, Мейерсон представлял себе огненную, смертоносную волну, накатывающуюся на Горохов с запада.

Давид, уже зрелым мужчиной прошедший Первую мировую, переживший гражданскую со всеми ее прелестями, знал запах войны. Он был разным – этот запах. Он мог меняться. Но тот, кто хоть раз вдыхал его, лежа в жидкой окопной грязи, кто хоть раз слышал кордитную вонь разрыва и кому спирало дыхание от приторного вкуса гниющих грязных бинтов – не спутает его ни с чем.

Мейерсон не мог ошибиться. Война снова пришла. Он узнал ее.

Мотострелковая часть, стоящая в казармах на южной окраине, снялась и запылила на запад, навстречу надвигающемуся фронту. В порту, на станции и возле Сталелитейного поставили зенитные пушки. В городском парке перестала по субботам играть музыка. Но все также светило солнце, уходили в море рыбацкие шаланды и возвращались с уловом, в садах, спускавшихся к морю, по ночам бесчинствовали соловьи и жарко, как в последний раз, миловались влюбленные пары.

Потом началась мобилизация. Военкомат находился в старом одноэтажном здании неподалеку от бывшей Александровской площади, которую старики так и не привыкли называть площадью Ленина. Туда со всего района свозили и призванных, и добровольцев. Их грузили в эшелоны, стоящие на Сортировочной, в теплушки с приоткрытыми по поводу летней жары дверями, и поезда уходили

в неизвестность, на запад, за степи Приазовья, откуда накатывалась на Горохов война. Эшелоны шли три раза в неделю, длинные, похожие на гигантских змей. Пока поезда набирали ход, за ними бежали дети. Бежали вдоль путей, от здания старого вокзала, где солдаты набирали кипяток в мятые чайники, мимо угольных складов и до самой водонапорной башни, откуда хлестала вода в бездонные чрева паровозов. Детям нравилось смотреть, как уходят поезда.

Жаркими летними днями Давид выходил из дома, старого дома, построенного еще его дедом, бывшим когда-то раввином этого городка, садился на скамейке под огромной старой шелковицей, усеивающей всю округу фиолетовыми сочными ягодами, и замирал, глядя вниз, на лежащий у моря город.

Когда-то тут жили греки.

Время не оставило от их многовекового присутствия почти ничего, кроме черепков амфор, которые иногда находили на огородах и в прибрежных песках, неуловимой похожести припортовых улочек на такие же улочки в средиземноморских городках, и нескольких десятков семей со звучными греческими фамилиями.

В город, заложенный пришельцами из Эллады, за две тысячи лет пришло множество народов. Были тут и широкоскулые потомки скифов, и смуглые турки, и шумные еврей-ашкенази, и неторопливые, обстоятельные украинцы, и мастеровитые русаки, говорливые цыгане, молдаване-винокуры...

Так и жили: кто морем, кто торговлей, кто мастерскими и заводами.

Все пришлые вначале селились в поселке на широкой песчаной косе, переходившей в виноградники и сады, взбиравшиеся вверх по пологому склону прибрежного холма. Точно так же карабкались вверх дома и домишки, окруженные пыльной зеленью и запахом акации. С одной стороны косы синело море, куда и уходили каждое утро просмоленные шаланды, с другой – раскинулась гладь лимана, где местные мальчишки ловили бычков да мелкого морского рачка. Поселок всегда, сколько помнилось, называли Шанхаем.

За чередой почерневших от соли, дыма и времени дощатых сараев, где многие поколения Гороховских рыбаков вялили улов, начинались городские улицы. На окраине они мало отличались от поселковых, а вот ближе к центру уже

появлялись дощатые тротуары. Площадь в центре была мощена гладким, аккуратным булыжником, у здания городской управы раскинулся небольшой сквер с розарием, пережившим и войну, и революцию, за ним располагались, торжественно-строгие, красного кирпича здания дворянского и офицерского собраний, в которых располагались городское НКВД и горком.

Вниз, к морю, там, где над причалами стояли таможня, длинные коробки складов и управление портом, и где дремали на козлах степенные балагулы, вела улица Соборная, некогда плотно застроенная домами богатых горожан и доходными домами. Дома остались, только богатых горожан уже не было.

Улицу Соборную пересекала ветка электрического трамвая, ходившего от старого деревянного здания вокзала мимо порта к бывшим Сталелитейным мастерским, превратившимся постепенно в вечно окутанный зловонными дымами Сталелитейный завод.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/valetov_yan/grustnyy-tanec-freylaks

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)